

Слово предоставляется товарищу Чурыгину, Евгений Замятин

Уважаемые граждане – и тоже гражданочки, которые вон там, я вижу, смеются, невзирая на момент под названием вечер воспоминаний. Я вас, граждане, спрашиваю: желательно вам присоединить к себе также и мои воспоминания? Ну, ежели так, прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать предыдущему оратору.

Перво-наперво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть действительный горький факт, а то у вас все как по писаному идет, а это неписаное, но как естественно было в нашей деревне Куймани Избищенской волости, которая есть моя дорогая родина.

Вся природа у нас там расположена в сплошном лесу, так что вдали никакого более или менее уездного города, и жизнь происходит очень темная. Конечно, и я тогда был тоже бессознательный шестнадцати лет и даже верил в религию – ну, теперь этому, конечно, аминь вполне. А брату моему Степке – царство ему небесное! – было годов эдак двадцать пять и, кроме того, он был ростом очень длинный, однако грамотный несколько. И вдобавок Степке другой, как говорится, герой – это наш бондарев сын Егор, который тоже проливал жизнь на фронте.

Но как все это существует в минуту капитализма, то имеется также противный класс в трех верстах, а именно бывший паук, то есть помещик Тарантаев, который, конечно, сосал нашу кровь, а обратно из-за границы привозил себе всевозможные предметы в виде голых статуй, и эти статуи у него в саду расставлены почему зря, особенно одна с копьем, вроде бог – конечно, не наш православный, а так себе. И притом в саду гулянки и песни с фонариками, а наши бабы стоят и сквозь забор пялятся – и Степка тоже.

Степка – он не то что шаболдник был или что, а так вроде чудной, опять же у него порча в нутре была, так что его даже в солдаты не взяли, и он оказался безработный член домашнего быта. Все ему завидуют сзади и спереди, а он сидит со вздохом и книги читает. А какие у нас, спрашивается, были книги в этот царский момент? Не книги, а можно сказать, отбросы общества – или, вкратце, удобрение. И вся, если можно, публичная библиотека была под видом чернички Агафьи сорока трех лет, которая над покойниками Псалтырь читала.

Ну, конечно, насосался Степка этих книг и пошел дурака валять. Ночью, бывало, проснешься, с полатей вниз глянешь, а он весь белый перед образом и сквозь зубы шипом шипит: «Ты меня с-слышишь? Ты с-слышишь?» Я и скажи ему один раз: слышу, говорю. Кэ-эк он затрясется да вскочит, а уж я не могу, из меня смех носом идет. Ну, тут он меня измутьискал так, что у меня печенки с легкими перемешались – насилу отдох.

А Степка утром – папаше в ноги: «Отпустите, – говорит, – меня в монастырь. Я, – говорит, – не могу, как вы, жить ежедневно». А папаша ему произнес: «Ты, – говорит, – Степка, практический дурак и боле ничего, и завтра же ты у меня на работу в город поедешь к дяде Артамону». Степка начал было против папаши говорить разные слова в виде писания, но папаша у нас был довольно не очень глупый и притом с хитриной – он и говорит Степке: «А в писании-то в твоём что сказано? Что всякий сукин сын мать и отца слушаться должен. Вот это действительно святые слова». Выходит, писанием-то и утер ему орган носа, так что покорился Степка и чуть свет уехал к дяде Артамону, который на фабрике отставным вахтером служил.

И вот, как говорится, картина жизни с полета: тут, например, фабрика вертится в полном

дыму, и где-нибудь на африканской границе невозможные скалы гор, и происходит ужасное сражение, а мы в своем лесу ничего не видим, бабы без мужиков, как телухи, ревут, и притом мороз.

В течение времени бондарева сноха от мужа Егора получила с фронта письмо, что-де произведен в герои первой степени с Георгием и вскорости жди меня обратно. Тут баба, конечно, обрадовалась и надела чистые чулки. Перед вечером на Николу вышли мы с папашей – глядь, катит на розвальнях Егорка бондарев, рукой машет и какие-то слова говорит, а какие – не слышать, только пар из рота клубками ввиду мороза.

Я, конечно, очень волнуюсь поглядеть героя, но папаша мне говорит: «Надо повзгодить, покуда он там с своей бабой произведет свидание». И только он это сказал – Егорова баба сама к нам ввалилась. Глаза белые, страшные, руки трясутся, и говорит темным голосом: «Помогите мне, ради Христа, с Егором управиться». Ну, думаем, должно быть, исколотил, – надо вступить за женское существо. Сполоснули руки, пошли.

Входим, глядим – самовар кипит, на лавке постель изделана, все даже очень подобно, и сам Егор у сундука тихо стоит. Да только как стоит: к сундуку прислонен вроде какой куль овса, и голова у него – наровнях с сундуком, а ног ни звания не осталось, под самый под живот срезаны.

Обомлели мы – стоим безо всяких последствий. Спустя Егор засмеялся нехорошо – так что у меня даже зубы заныли – и говорит нам: «Что? Хорош герой первой степени? Нагляделись? Ну, так теперь как надо меня кладите при вашей помощи». И, значит, легла его баба на постель, а мы Егора с полу подняли и уложили следующим образом. После чего ушли, я дверь захлопнул и палец себе вот этот вот прищемил, но даже никакой боли не чую: иду – и все в глазах воображение Егора у сундука.

Вечером в Егоровой избе, конечно, собрался народ в целом виде. Егор – под иконами на лавке, к стенке прислонен, ли стоит, ли сидит – уж как это по-вашему пишется, не знаю. И которые собравшись – все на него ужахаются и молчат, и он молчит, курит, а я возле печки, и даже слышу, как прусаки вылезли и по пристенку шуршат.

Тут, на счастье, пришел бондарь, который отец, и вынимает спиртной предмет из кармана. Егор, конечно, выпил стаканчик, и только, это, налил другой, как чей-то мальчонка с улицы вкатился и кричит с удовольствием «Барин! Барин!» Глядим – а уж барин Тарантаев в дверях. Бритый весь, и дух от него роскошный – видать, пищу легкую принимает. Кивнул нам эдак – и прямо к Егору: «Ну – говорит, – Егор, поздравляю, поздравляю». А Егор лицо ухмыльнул на один бок неприятно и произнес: «А позволю себе: с чем вы меня поздравляете?» Барин ему ответственно говорит: «Ввиду, что ты есть гордость и герой, приявший за отечество». А сам дерюжку приподнял, какую были закрыты у Егора нижние места, и нагнулся, глядит.

Тут Егор перекосоурился, зубами заскрипел – да как по шее его дряпнет, да еще раз! Барин Тарантаев в пыху ткнул Егора, который на бок, как куль, а подняться не может, с криком: «Бей его! Бей!» Я в составе других подскочил к барину, сердце у меня, как заячий хвост, трясется, и вот ничего мне не надо – только в глотку ему вцепиться. Барин Тарантаев, красный, рот разинул – сказать, но об наши ненавистные глаза обстрекнулся, как вроде об крапиву, и бегом в дверь.

Под напором этой победы мужики затихли и Егору говорят, что ты действительно герой первой степени. Егор, конечно, выпил еще стаканчик и постепенно произнес речь, что какой же он герой, когда он на фронте в яму присел для своей грубой надобности, а тут его сверху по ногам и шмякнуло. «Но мы, – говорит, – вскорости прикончим весь этот

обман народного зрения под видом войны. Потому, – говорит, – нам вполне известно, что теперь надо всеми министрами состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет». Тут как это услышали наши – ну, прямо в чувство пришли и кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и господам – крышка и полный итог, и мы все на Григория Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш мужик. И вот, граждане, конечно, про этого Григория Ефимыча я теперь понимаю вполне целесообразно, но тогда у меня от этого известия прямо пульс начался.

Теперь, значит, дальше. А именно, как Егор оскорбил барина по шее, то вышел у нас с этим пауком полный разрыв, и даже у тарантаевских ворот стоял кровный черкес с кинжалом для препятствия входа. Раньше мы, бывало, в усадьбу ходили насчет газет и прочего, а теперь живем в полном лесу и ничего не знаем, какие события на далеком шаре земли, например, в Петербурге.

И так своевременно происходит бывшее Рождество Христово и масленица, мороз переменный. И на масленице папаша получает из города от Степки внезапное письмо. А как у нас тогда никакой ликвидации грамотности не было и, можно сказать, один читаемый человек Егор, то к нему народу собралось труба – Степкино письмо слушать. И пишет Степка, что у них теперь на фабрике вполне известно, что насчет бога – это суеверный факт, а напротив того есть книга Маркс, и что в столице Петербурге произошло очень значительное убийство, и потому ждите – вскорости еще и не то будет. А жалованье у нас самое печальное, девять с полтиной в месяц, и я выезжаю к вам лично.

Егор на лавке стоит, прислонен к подоконнику, и руками прибавляет: «А что, – кричит, – я вам насчет Григория Ефимыча-то говорил? Это его работа, уж это уж будьте спокойны!»

Хотя в письме насчет убийства неясно и насчет бога ввиду предрассудков тоже неполное удостоверение, однако чуем – это все не зря, и действительно ждем. Чего ждем – не знаем, а вроде как бы животная собака перед пожаром беспокоится, так и мы. И притом ужасный мороз, тишина, и дятел в лесу тукает. И мы все, как подобный дятел, одно долбим – про Григория Ефимыча.

В течение времени этак происходит день или два, и затем смеркается, и тут видим: скачет на черной лошади конная естафета прямо в тарантаевскую усадьбу, а над усадьбой солнце садится – от мороза распухло и все красное. Егор у нас, конечно, главнокомандующий, и он говорит: «Это – оно самое, начинается. Теперь смотрите за усадьбой невступно и мне докладайте».

На случай часовых поставили меня да еще одного – горбатый такой у нас был Митька. Сидим в кустах, пальцы духом греем, и притом все слышать, какое на дворе волнение и собаки, и мы трясемся. Спустя, глядим: не говоря худого слова, раскрываются ворота, и выскакивают лютые сани, в санях барыня Тарантаева с девчонкой, плачет, а уж из ворот и этот выезжает на черной лошади конный, который на барыню, как на собаку, просто кричит: «Але!» И, значит, санки – в одну сторону, а этот конный – обратно в другую, то есть на нас. Горбатый Митька меня в кусты тянет, а во мне дух зашелся, и я – прямо как в виде алкоголя – сам не знаю, чего делаю, руками махаю и бегу этому конному наперехват. Он, конечно, остановился и задает мне: «Что случилось?» – и лошадью мне в морду храпит. А я ему безо всяких: «У нас, – говорю, – ничего, а вот у вас что?» – «Это, – говорит, – не касается. Але!» Я ему в глаза уперся и с выражением говорю: «А как, – говорю, – насчет Григория Ефимыча? Это вам касается?» И он мне возражает с известным смехом: «Григорий Ефимыч твой – тю-тю: его, слава Богу, давно пристрелили!» – и при этом скачет в направлении.

Тут я что есть мочи – к Егору. В избе у него полное присутствие наших мужиков, и все в натянутом ожидании. Как я начал докладывать, то мое невинное сердце шестнадцати лет стало поперек глотки, и я плачу насчет погибшей мечты в виде Григория Ефимыча и вижу – все тоже сидят со вздохом, как пришибленные. А в заключение Егор объявил свой приказ: разойтись до утра по домам для разных естественных надобностей подобно пище и снотворному отдыху.

Тут постепенно рассветает это значительное утро, когда у вас в Питере происходит торжество революции со знаменами, а у нас такое, что даже ни на что не похоже, и, однако, это есть, конечно, наши отдаленные звуки в полной связи с вами, и притом ужасный мороз. И мы все собрались у Егоровой избы в валенках, а Егора в виде трибуны посадили в кошелку с сеном и поставили на розвальни. Спустя, Егор объявил из кошелки, что мы сейчас идем грудью на тарантаевскую усадьбу и пусть барин дает полный отчет, как убили пристоящего за нас крестьянина Григория Ефимыча, а может, он еще, Бог даст, жив. Конечно, мы все единогласно пошли по снегу, а снег на солнце синий до слез, и в нутре у нас все играет, как вроде у цепного, который десять лет на цепи сидел и вдруг сорвался и пошел чесать.

Тарантаевский кровный черкес как нас увидал в количестве, то сейчас же закрыл калитку и изнутри поднял крик и разное волнение, в числе которого слышим также голос к нам Тарантаева барина, что, мол, нынче необыкновенный день в столице и вы лучше без последствий разойдитесь для скорого ожидания. А Егор ему из кошелки кричит, что мы ждали да уж и жданки съели и пускай ворота сейчас откроет, а то все одно сломаем.

Тут мы слышим молчание с шепотом, потом заскрипели ворота – открывается приятный сосновый вид аллеи и очевидная для всех статуя с копьем, которая для прочих событий еще пригодится в роли. Мы, конечно, идем стройными рядами, а именно впереди Егор в кошелке и мы сзади кучей как попало, а барин задней спиной к нам бежит всюду к цели дома. Вдруг откуда ни возьмись в руке у Егора видим револьвер, и он с прицелом кричит барину: «Стой!» И как только этот выкидыш общества увидал револьвер, так безо всяких остановился возле того бога с копьем и притом сам в виде мнимой статуи, но, однако, говорит нам: «Вы прямо ошибаетесь, я сам из народной свободы». А Егор ему грозно задает: «Значит, с Григорием Ефимычем заодно? Говори!» На что барин вполне правдоподобно отвечает дрожащие слова: «Что вы, – говорит, – мы все очень рады, что этого негодяя Гришку убили». Тут Егор облютел и на все стороны кричит: «Слышите, ребята? Негодяя, говорит! Очень рад, говорит! Ах, ты такой-сякой», – и прочее, то есть разные матерные примечания. «И мы, – говорит, – тебя сейчас самого ухлопаем из этого револьвера».

Конечно, Егор, как будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, а у нас тогда еще был в нутре оттенок, что как неприятно прикончить вполне живого человека. И покудова идет у нас, как говорится, обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный труп, и только, помню, один раз утер течение носа.

Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно своему письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками – вот этак вот, вроде крыльями, ну, прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И притом кричит: «Братцы, братцы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!»

Что, как – не знаем и только чуем: из Степки хлещет, как говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут происходит ура и всеобщая стихия вроде

суеверия Пасхи. А Степка постепенно взбодрился возле статуи на скамейку, варежкой слезы вытирает и говорит вдобавок, что царя в виде Николая сменили и что всякие подлые дворцы надо истребить до основания лица земли, чтоб более никаких богачей, а будем все жить бедным пролетариатом по бывшему Евангелию, но, однако, это нынче происходит согласно науке дорогого Маркса. И мы все как один подтверждаем в виде ура, а Егор из кошелки в полном размахе кричит: «Спасибо тебе, герой Степка, от православного сердца! И с Богом – круши весь их роскошный бюджет!»

Тогда Степка выхватил у мужика топор, подскочил к статуе, которая с копьем, и от души замахнулся на нее для истребления. Но барин Тарантаев в этот момент как бы встрепенулся из своего трупа и говорит: «Это ни в чем не виноватая драгоценная статуя, и я, может быть, вез ее сухопутно из самого Рима, так как это есть бесчисленной цены называемый Марс».

И мы все видим, как у Степки рука опускается без последствий, и говорит с выражением: «Братцы! И только я произнес сейчас вам это дорогое имя, как здесь вдруг имеется его действительное изображение под видом статуи. И это я считаю вроде знаменья и предлагаю обнажить шапки».

Я вас, граждане, кратко прошу принять, что как называемого Октября еще не имелось в виду, то мы тогда были народ всецело темный, как говорится – индусы. И вследствие чего мы все единогласно скинули шапки и так, без шапок, ухватили под задок это дорогое изображение и поставили на розвальни рядом с кошелкой, в которой существует Егор. А Степка принял резолюцию: барина Тарантаева отпустить безвредно в заслугу, что открыл нам это изображение, но притом для науки против богатства пушай глядит, как мы истребим весь его обиход. Мы все опять подтверждаем в виде ура с удовольствием, что образуется программа без пролития живого человека, но, однако, печальная судьба вышла вразрез наших ожиданий.

А именно, мы приступаем к дому, и у нас авангард в виде розвальней, на которых статуя и Егор в кошелке, а рядом наш Степка идет и барин Тарантаев связанный. И навстречу нам сверкают окошки вроде подозрительных глаз, и одно, помню, слуховое под самой крышей, и там сидит приятный голубь. А Степка оборачивает назад свою прекрасную улыбку счастья и кричит из души: «Братцы, мочи моей нету, до чего нынче необыкновенный день новой жизни!»

Только он это произнес, как видим: тот самый голубь порхнул вверх, а из чердачного окошка – незначительный дымок. И может быть, еще одно десятое мгновение секунды, после чего ужасный звук в виде выстрела – и наш Степка с улыбкой падает носом в сугроб.

Мы все стоим, как пораженные столбы, и еще оклёматься не успели, как тут же еще выстрел, который отшибает у статуи пальчики, а затем Егор с страшным выражением ругательств пускает из револьвера две пули в чердачное окно и одну обратно в барина Тарантаева, который ложится рядом со Степкой в своем мертвом виде. А Егор в ненавистном чувстве стреляет в него еще три раза с дополнением слов: «А это тебе за Степку! А это тебе за Григория Ефимыча! А это за все!»

Тут, конечно, происходит всеобщий крик и последняя беспощадная ступень событий, или, вкратце, полное истребление. И тогда на этом самом невинном снегу можно видеть оскрётки стекол и прочей посуды и вроде издохший кверху ногами диван, а также разбитый труп кровного тарантаевского черкеса, потому, конечно, это он палил с чердака и его пронзила пуля из военной руки Егора. И еще помню, вверху на сучке висит золоченая клетка, и в ней неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит

последним голосом.

В течение времени согласно природе происходит ночь и общепринятая система звезд с видом, что как бы ничего и не было, и только из темноты встает красная заря, или, вкратце, догорает бывшая усадьба. Притом в деревне у нас полная тишина и собаки, а в общественной избе под иконами лежит Степка в виде жертвы с улыбкой, и тут же статуя, и черничка Агафья сорока трех лет читает Псалтырь, и народ с разными слезами.

Это есть конец наших всевозможных темных событий как бы во сне, и затем восходит вполне сознательный день. А именно, спустя, приезжает к нам действительный оратор, и мы следующим образом узнаем весь текущий момент, и что Григорий Ефимыч, или, вкратце, Гришка – был не герой, но даже совсем напротив, а эта самая наша статуя произошла по причине ошибки звука.

И в заключение я вижу, что которые гражданки сперва сидели с видом смеха, то теперь они имеют обратный вид, и я к этому вполне присоединяюсь, потому это все – горький факт нашей темной культуры, которая нынче, слава богу, существует уж на фоне прошлого. И здесь я ставлю точку в виде знака и ухожу, граждане, в ваши неизвестные ряды.

1926 год